

Р.В. Иванов-Разумник

**Русская литература XX века
1890-1915 год**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82.09
ББК 83.3
Р11

Р11 **Р.В. Иванов-Разумник**
Русская литература XX века 1890-1915 год / Р.В. Иванов-Разумник – М.:
Книга по Требованию, 2015. – 37 с.

ISBN 978-5-458-37900-7

ISBN 978-5-458-37900-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2015

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2015

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

Русская литература XX вѣка.

(1890—1915 г.г.).

I.

Если оглянуться на всю русскую литературу XIX вѣка, то распадется она на три явственныхъ періода, признаками дѣленія которыхъ будутъ два вѣчныхъ устремленія человѣческаго духа: „реализмъ“ и „романтизмъ“. Рубежемъ между ними является разложенье художественнаго (и не только художественнаго) реализма, возрожденіе теоретическаго (и не только теоретическаго) романтизма въ русской литературѣ конца XIX вѣка.

Преддверьемъ къ XIX вѣку была внѣшняя и внутренняя реформа Карамзина; начало этого вѣка отмѣчается рубежомъ 1814 года, потрясеніемъ духовныхъ устоевъ русской интеллигенціи, идейными выводами „освободительной войны“. Зарождается декабризмъ; и около этого же времени впервые проникаютъ къ намъ „темные слухи о какомъ-то романтизмѣ“. Два пути намѣчаются передъ русской интеллигенціей. И въ эти же годы—первое появленіе юноши-Пушкина, именемъ котораго назовется ближайшій и блестящій періодъ русской литературы.

Нити до-пушкинскаго литературнаго развитія пересѣклись въ Пушкинѣ и связались въ крѣпкій узелъ, отъ котораго начались новые пути. „Романтизмъ“ той эпохи былъ не долговѣченъ; „любомудріе“ и шеллин-

гіанство двадцатыхъ годовъ изжили себя въ философскомъ романтизмѣ слѣдующаго десятилѣтія; художественный же романтизмъ той эпохи былъ только мнимый, наносный, неусвоенный; онъ возродился только полвѣка спустя, въ послѣднемъ десятилѣтіи девятнадцатаго вѣка.

Четвертъ вѣка (1815—1840 г.) завязывался крѣпкій узелъ новой русской литературы около Пушкина, и былъ этотъ узелъ тройной. Пушкинъ—реалистическій синтезъ всего прошлаго и знамя грядущаго полувѣка; глубочайшая *религія жизни* на основѣ реализма была въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ тѣмъ сѣменемъ, которое разрослось въ „Войну и миръ“ Толстого черезъ пятьдесятъ лѣтъ. Лермонтовъ—раздвоеніе мятущейся души и развернутое въ грядущее знамя *религіи бунта*; полвѣка спустя, мы увидѣли знамя это въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ Достоевскаго утвержденнымъ на небывалой творческой высотѣ. Гоголь—тяга къ мистикѣ реалистической души; послѣ „Мертвыхъ душъ“—*религія смерти*. Отъ этого тройного узла вширь и вглубь пошла русская литература послѣ 1840 года.

Въ этотъ годъ—убить Лермонтовъ; тремя годами ранѣе—смерть Пушкина; здѣсь-же—высшая точка пути Гоголя и духовная смерть его. Три смерти разсѣкли тройной узелъ русской литературы къ началу „эпохи Бѣлинскаго“, который сумѣлъ дать критическіе выводы и итоги реализма минувшей четверти вѣка.

Начался полувѣковой „пушкинскій періодъ“ русской литературы—и эти полвѣка (1840—1890) были свидѣтелями *побѣды реализма и разложенія его*. Если взглянуть въ этотъ путь развитія русской мысли и литературы, то расцвѣтъ художественнаго реализма будетъ идти неуклонно вверхъ вплоть до Толстого. Сперва вѣншіе наслѣдники пушкино-гоголевскаго реализма—„натуральная школа“ сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ; затѣмъ—знаменитые такъ-называемые „семь китовъ“ русской художественной литературы годовъ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ: Тургеневъ, Гончаровъ, С. Аксаковъ, Писемскій, Островскій, Григоровичъ, Салтыковъ (одинъ изъ этихъ „китовъ“, Григоровичъ, оказался небольшою литературной рыбешкой). О Толстомъ и Достоевскомъ—рѣчь особая, но и безъ нихъ мы имѣемъ передъ собою къ семидесятымъ

годамъ вершины художественнаго реализма, при одно-временномъ *разложеніи реализма теоретическаго*.

Русская литература прошла этотъ путь отъ Бѣлинскаго до „нигилизма“, скатилась по наклонной плоскости отъ Чернышевскаго черезъ Добролюбова къ Писареву, прошла мимо эпигоновъ теоретическаго реализма—Антоновича, Зайцева, Ткачева и др. Въ нигилизмъ было *первое пораженіе демократіи—пораженіе идейное*; въ немъ было разложеніе теоретическаго реализма. Лишь народничество въ области социально-политической мысли вывело русскую интеллигенцію изъ этого болота; но въ области мысли философской оно оказалось не на много сильнѣе своихъ предшественниковъ. Въ области художественной литературы оно поднялось выше, и кромѣ **второстепенныхъ писателей** (Левитовъ, Кушевскій, Новодворскій, Златовратскій и др.) дало такого подлиннаго художника, хотя и художника-публициста, какъ Гл. Успенскій.

Такъ или иначе—но къ семидесятымъ годамъ передъ нами вершины художественнаго реализма и развалины реализма философскаго. Такой подлинный художникъ, какъ Мельниковъ-Печерскій, является уже второстепеннымъ писателемъ своей эпохи; особнякомъ стоитъ Лѣсковъ, которому впоследствии суждено будетъ стать истокомъ „новаго реализма“ въ началѣ новаго вѣка.

Такъ приходимъ мы къ вершинамъ русской литературы, къ Толстому и Достоевскому, за которыми—переваль, спускъ, а иногда и проваль, срывъ. Толстой—вершина реализма, величайшій синтезъ всего „пушкинскаго періода“, новый узелъ дорогъ, отъ котораго начинаются новые пути; религія жизни отъ „Евгенія Онѣгина“ къ „Войнѣ и миру“—вся полувѣковая исторія литературы „пушкинскаго періода“. Достоевскій—величайшій синтезъ „гоголевскаго періода“; преодоленная религія смерти, преодоленная религія бунта. Толстой и Достоевскій—вершины реализма, глубины мистики, завершеніе стараго, начало новаго періода русской литературы.

Вершины, но за ними переваль, или проваль; и то и другое случилось въ русской литературѣ и жизни восьмидесятыхъ годовъ. Здѣсь передъ нами *второе пораженіе демократіи—пораженіе общественное*; и вмѣстѣ съ этимъ—здѣсь передъ нами второе разло-

женіе реализма. Первое было, когда философскій реализмъ перешелъ въ нигилизмъ: это было разложение реализма теоретическаго; теперь художественный реализмъ сталъ переходить въ натурализмъ, и это стало *разложениемъ реализма художественнаго*. Беллетристика Эртеля, Альбова, Терпигорева, Мамина-Сибиряка, несмотря на отдѣльные удачныя достиженія, все дальше и дальше уводила въ тотъ тупикъ натурализма, который закончился безчисленными романами Боборыкина. И даже наиболѣе даровитые изъ эпигоновъ реализма, нащупывавшіе „импрессионистическіе пути“ (Гаршинъ, Короленко) были уже людьми склона, а не подъема. Художественный реализмъ кончался въ тупикѣ.

Надо было искать новые пути отъ великихъ вершинъ. Завершеніе старой формы разсказа и начало новой далъ Чеховъ своимъ безсознательнымъ „импрессионизмомъ“ (здѣсь все дѣло—въ формѣ письма); новое воскресеніе демократіи въ девяностыхъ годахъ привело и къ возрожденію формъ реализма (М. Горькій). Но не на этихъ путяхъ можно было достигъ новыхъ вершинъ; пути эти шли отъ былого „романтизма“, и ихъ достиженія сказались въ „нео-идеализмѣ“ конца XIX вѣка. Достиженія эти были въ области теоретической мысли; въ области художественнаго творчества достиженія эти проявились на путяхъ отъ „декадентства“ къ „символизму“.

Но это уже—періодъ „новѣйшей русской литературы“ (1890—1915), послѣдняя четверть вѣка *побѣды символизма и разложенія его*. Полувѣковой пушкинскій, реалистическій періодъ русской литературы былъ законченъ; начался новый путь—путь теоретическаго и художественнаго „романтизма“.

II

Съ самаго начала девяностыхъ годовъ стали смутно брезжить „темные слухи о какомъ-то символизмѣ“. До подлиннаго символизма было, впрочемъ, еще далеко; сперва надлежало пройти бурный и обрывистый путь „декадентства“ (тогда еще не различались эти два совершенно различныхъ понятія). Истоки новаго теченія лежали во французской поэзіи, но здѣсь не мѣсто останавливаться на этой линіи развитія отъ Бодлера и Вер-

лена къ Малларме и Римбо; достаточно знать, что именно отъ этихъ истоковъ (включая въ нихъ и Метерлинка и многихъ другихъ) пошло русское „декадентство“, какъ новая форма поэзіи. А новая форма—всегда показателъ новаго міровоззрѣнія.

„Міровоззрѣніе“—слишкомъ тяжеловѣсное и серьезное слово, чтобы примѣнять его къ полу-безсознательнымъ движеніямъ души группы молодежи, объединившейся около новаго теченія; да и „новое“, объединившее ихъ, было новымъ, конечно, лишь въ очень условномъ смыслѣ. Все это такъ: и все же новая „идеологія“ вскрылась мало-по-малу за новой формой поэзіи. „Форма“—была реакціей на тотъ упадокъ поэзіи, къ которому пришла русская литература къ девяностымъ годамъ; „идеологія“—была реакціей на умѣренно-либеральную и умѣренно-консервативную эпоху общественнаго мѣщанства. „Декаденты“ девяностыхъ годовъ были своеобразнымъ дополненіемъ „марксистовъ“ той же эпохи; и общественно-безграмотное декадентство и эстетически-безграмотный марксизмъ были двумя совершенно различными отвѣтами русской жизни, искавшей выхода изъ всяческаго болота предыдущей эпохи.

Наслѣдники пушкино-лермонтовской поэзіи въ теченіе полулѣтка вели ее подъ уклонъ медленно, но вѣрно. Два большихъ поэта стоятъ особнякомъ на этомъ пути: Тютчевъ и Некрасовъ, и пути ихъ идутъ отъ Пушкина и Лермонтова. Но глубокой и слишкомъ особенной Тютчевъ не имѣлъ и не могъ имѣть наслѣдниковъ; а продолжатели пушкинскаго пути—Фетъ, Майковъ, Полонскій, поэты убывающаго значенія и дарованія,—несмотря на высокія достиженія (особенно у Фета) все же размельчились къ восьмидесятымъ годамъ на рядъ слабыхъ дарованій, среди которыхъ даже Апухтинъ, даже Голенищевъ-Кутузовъ были уже звѣздами первой величины. Некрасовъ, самобытѣйшій русскій поэтъ, неизмѣримо болѣе глубокой, чѣмъ отражавшееся въ его поэзіи народничество, тоже не создалъ своей „школы“ (слишкомъ былъ онъ для этого своеобразенъ), но имѣлъ рядъ послѣдователей, не служившихъ для него украшеніемъ. Второстепенные поэты обоихъ путей русской поэзіи—Алексѣй Толстой, Мей, Щербина, Огаревъ, Никитинъ („наслѣдникъ Кольцова“), даже Плещеевъ—всѣ они были еще слишкомъ крупными величинами для поэ-

днѣйшей эпохи восьмидесятыхъ годовъ, когда и Апухтинъ, и Суриковъ, и Дрожжинъ считались Божьею милостью поэтами.

Оба пути соединились, наконецъ, въ одномъ поэтѣ упадка, въ Надсонѣ, молодая искренность котораго не искупаетъ всей слабости формы и отвѣчающей ей скудости содержанія. Успѣхъ его былъ (и продолжаетъ оставаться) громаднымъ, десятки изданій его стиховъ разошлись среди русской молодежи: искренняя боль души поэта перевѣшиваетъ въ глазахъ этихъ читателей бѣдность и блѣдность выраженія этой боли. Жертва эпохи общественнаго мѣщанства, подлинный „герой безвременья“, Надсонъ заслуживаетъ всяческаго сочувствія, какъ человѣкъ, являясь въ то-же время типичнымъ поэтомъ упадка русской поэзіи; въ этомъ смыслѣ онъ поистинѣ послѣдній нашъ „декадентъ“ въ буквальномъ значеніи слова.

Были, правда, въ эту эпоху два-три поэта, которые дали намъ проблески новаго въ старомъ: Случевскій, въ послѣдствіи признанный и „молодыми“, близкій имъ по течучести и „протеизму“ чувства („Я—художникъ мгновений, Я—пѣвецъ настроеній“), и еще болѣе — Фофановъ, которому недостатокъ не таланта, а лишь образованія, помѣшалъ сдѣлаться Бальмонтомъ восьмидесятыхъ годовъ. (Впослѣдствіи судьба ихъ во многомъ была одинакова: замерли на разѣ достигнутой точкѣ и растеклись въ многословіи). Но ласточка одна не дѣлаетъ весны: обновить русскую поэзію должна была сплоченная стая „молодыхъ“, тѣсной гурьбой, съ шумомъ и скандаломъ вошедшая въ русскую литературу „конца вѣка“. Они „эпатировали буржуа“, „эпатировали“ литературнаго мѣщанина, они не испугались клички „декадентовъ“, вырожденцевъ, дѣтей „fin de siècle“; и именно съ нихъ идетъ возрожденіе русской поэзіи и небывалый расцвѣтъ ея къ началу XX вѣка.

Конечно, къ новому теченію примазалось не мало скандалистовъ, рекламистовъ, случайныхъ людей—но всѣ они отпали и пропали съ теченіемъ времени; молотомъ времени стекло было раздроблено, булатъ былъ прокованъ. Три большихъ поэта „декадента“, признанные въ разное время, связаны съ девяностыми годами: К. Бальмонтъ, В. Брюсовъ, Ѳ. Сологубъ. Одинъ изъ нихъ, В. Брюсовъ, въ послѣдствіи все больше и

больше сталъ приближаться къ „парнасизму“, къ четкости, къ строгости, къ ясности письма; другой, Ѳ. Сологубъ, заложившій позднѣе первые камни „новаго реализма“, ошибочно сталъ въ послѣдствіи считаться однимъ изъ основоположниковъ „символизма“; третій, К. Бальмонтъ, остался до старости тѣмъ, чѣмъ былъ въ юности: чистымъ — „декадентомъ“, поскольку декадентство есть вопросъ не только формы, но и „идеологии“.

Вопросы формы мы здѣсь оставимъ въ сторонѣ; общеизвѣстно теперь, какія завоеванія въ этой области принесло съ собою „декадентство“ (и въ послѣдствіи „символизмъ“). Но зато „идеология“ декадентства касается насъ какъ нельзя ближе, — ибо „идеологіей“ этой было какъ разъ крайнее проявленіе того самаго „индивидуализма“, который является ариадниной нитью черезъ всю русскую литературу XIX вѣка.

III.

Крушеніе теоретическаго и художественнаго реализма къ девяностымъ годамъ привело ко всяческой „переоцѣнкѣ цѣнностей“, привело къ „отказу отъ наслѣдства“, привело снова къ попыткамъ „строиться въ пустынь“. Чѣмъ кончилъ нигилизмъ шестидесятыхъ годовъ, съ того начало въ девяностыхъ годахъ декадентство: съ отрицанія всякихъ цѣнностей, но зато съ признанія единственной, исключительной и самодовлѣющей цѣнности за своимъ „я“. Плохо понятое и плохо переваренное „нитцшеанство“ для многихъ изъ „декадентовъ“ было сперва первымъ толчкомъ, а затѣмъ и исповѣданіемъ вѣры.

Нитцше — рубежъ цѣлой эпохи въ развитіи западно-европейской мысли; теперь, къ двадцатымъ годамъ двадцатаго вѣка, собранія его блестящихъ и глубокихъ афоризмовъ значительно поблекли и обмелѣли, но двѣ его книги останутся великими на всѣ времена: первая его книга, „Рожденіе трагедіи“, и одна изъ послѣднихъ „Такъ говорилъ Заратустра“. Отъ этихъ ключей долго еще будутъ питаться новые и новые истоки человѣческаго творчества; но не отъ нихъ питалось русское „декадентство“, взявшее не столько отъ Нитцше,

сколько отъ уплощеннаго нитцшеанства лишь наиболѣе показныя и внѣшнія стороны новаго теченія духа.

„Самообожествленіе я“—одна изъ такихъ сторонъ русскаго „декадентства“. Стали ходячими отдѣльныя строки и строфы декадентскихъ поэтовъ, исповѣдывавшихъ этотъ свой символъ вѣры. Выше *моего* „я“ нѣтъ ничего; какъ оно волитъ, такъ тому и быть; мгновенное настроеніе его цѣннѣе прошлаго и будущаго всего міра; кромѣ моего „я“ и за нимъ—лишь пустыня; долой поэтому всякую „гражданственность“, всякую общественность; зло и добро освящаются лишь моимъ воленіемъ. Н. Минскій, Д. Мережковскій, З. Гиппіусъ, поэты менѣе крупныя, чѣмъ три, названныя выше (быть можетъ только за исключеніемъ З. Гиппіусъ, узкой, но очень острой и пряной „декадентки“) — проложили дорогу первымъ русскимъ „декадентамъ“, группѣ молодежи девяностыхъ годовъ.

„Я цѣпи старыя свергаю, молитвы новыя пою“, — возглашалъ Н. Минскій, порывая съ былой „гражданственностью“; и его „новая молитва“ была лишь рационалистической формулировкой „истины“, казавшейся тогда декадентамъ очень глубокой: „нѣтъ двухъ путей добра и зла—есть два пути добра... И повторялъ В. Брюсовъ: „равны Любовь и Грѣхъ“. И повторялъ Д. Мережковскій: „и зло, и благо два пути, ведутъ къ единой цѣли оба, и все равно, куда идти“... Впослѣдствіи эта же мысль о „безднѣ вверху и безднѣ внизу“ послужила темой романа Д. Мережковскаго „Воскресшіе боги“.

Отсюда былъ путь къ „люциферіанству“ и далѣе—къ тому дешевому и плоскому „магизму“, который на склонѣ декадентства сталъ суррогатомъ подлинно глубокаго символизма. „О, мудрый Соблазнитель, Злой Духъ, ужели ты—непонятый Учитель великой красоты?“ (З. Гиппіусъ). Но и „демонизмъ“ и „магизмъ“ были уже попыткой спасенія изъ пустыни одинокаго „я“, а сперва въ этой пустынѣ декаденты хотѣли и жить, и умереть. „Люблю я себя, какъ Бога“ (З. Гиппіусъ)—общій ихъ символъ вѣры. Эта „любовь“, опиравшаяся въ концѣ-концовъ на „философскую“ почву солипсизма, особенно ярко выразилась въ рядѣ стихотвореній Ѳ. Сологуба.

„Я—во всемъ, и нѣтъ иного“. „Все—Я. И все, что

есть, то—Я“. „Я создалъ всѣ міры“. „Благословенно все и во всемъ, ибо все и во всемъ—Я и только Я“. „Я—весь. Я только Богъ“. „Дамъ заповѣдь едину: люби, люби Меня“. Такъ повторяетъ Ѳ. Сологубъ въ безчисленномъ рядѣ стихотвореній, въ „Литургіи Мнѣ“, въ „Я“—„книгѣ совершеннаго самоутвержденія“. И разъ „я“ любить себя, какъ Бога, разъ „я“ есть Богъ, то вѣчные законы мгновеннаго „я“ и мгновенные законы вѣчнаго „я“—высшее въ мірѣ. Раньше поэты служили литургіи „Красотѣ“; но вѣдь нѣтъ этого кумира, вѣдь мое „я“ можетъ волить и обожествленіе „Безобразія“ (физическаго и нравственнаго). Долой кумиры! подлиннымъ Богомъ „я“ можетъ быть только „Мгновеніе“. Объ этомъ много сказалъ въ свое время К. Бальмонтъ.

Мгновенье вѣчно благовѣствуетъ,
Секунда—атомъ, живой алмазъ.
Мы расцвѣтаемъ, мы отцвѣтаемъ
Безъ сожалѣнья, когда не мыслимъ,
И мы страдаемъ, и мы рыдаемъ
Когда считаемъ, когда мы числимъ...

И эта тема проходитъ черезъ всѣ тома и тома его (и не только его) стиховъ. „Все, на чемъ печать мгновенья, брызжетъ свѣтомъ откровенья“. „Живи, и знай, что ты живешь мгновеньемъ“. „Я каждой минутой—сожженъ, я въ каждой измѣнѣ—живу“. „Какъ пѣна морская, на мигъ возникая, погибнетъ, сверкая, растаетъ дождемъ,—мы, дѣти мгновенья, живемъ для стремленья“... Можно было бы привести еще сотни и сотни характернѣйшихъ отрывковъ о „царѣ-мгновеніи“, ибо въ этомъ—одно изъ самыхъ *постоянныхъ* настроеній декадентства, провозглашавшаго *измѣнчивость*. „Мы мѣняемся всегда, нынче *нѣтъ*, а завтра *да*“. Ибо твердо „да“ и „нѣтъ“—не существуетъ, ибо все декадентство есть „ни да, ни нѣтъ“ („*Да* и *нѣтъ*—не слиты, не слиты—сплетены; ихъ темное сплетенье и тѣсно, и мертво“...), ибо все декадентство—область заглушенныхъ полу-звуконъ, утонченныхъ полу-тоновъ, изощренныхъ полу-чувствъ заостренныхъ полу-мыслей.

И эта декадентская полутонность („rien que la nuance!“ по завѣту ихъ французскаго учителя и предшественника), эта ихъ заостренность и изощренность, все это—характерное, общее, объединяющее свойство этихъ дѣтей

„fin de siècle“. Конечно, это было признакомъ не „вырожденія“, а возрожденія, ибо это было лишь продолженіемъ того „углубленія художественной впечатлительности“, которое характеризуетъ всякое движеніе впередъ, и которое въ свое время могло быть отмѣчено и у Толстого, и у Достоевскаго. Но у декадентства эта „полутонность“ впадала въ „полусонность“, возводилась чуть-ли не въ принципъ познанія:

Удивленно
Заглянуть,
Полусонно
Воздохнуть,—
Это путь,

Для того, чтобъ возсоздать

То, чего намъ въ этой жизни вплоть до смерти не видать!

Это былъ разрывъ съ живой жизнью, которая не ограничиваетъ себя областью полу-тѣней и полу-звуковъ. „Мнѣ мило отвлеченное: имъ жизнь я создаю; я все уединенное, неявное люблю“... И созданная такъ жизнь не могла не быть лишь тѣнью жизни. „Звуковъ хотимъ, но созвучій боимся“,—а жизнь вся въ звукахъ, краскахъ и созвучіяхъ. Свѣтъ лампы, но не солнца—вотъ декадентство. „Какъ пламя робкое мнѣ мило! Не ослѣпляетъ и не жжетъ. Зачѣмъ мнѣ грубое свѣтило недосыгаемыхъ высотъ?“ (З. Гишпюсъ). И хотя Бальмонтъ призывалъ своихъ соратниковъ: „Будемъ, какъ солнце!“, но гораздо болѣе характерной для декадентства была ненависть Ѳ. Сологуба къ „небесному Дракону“, къ „Змію“, слишкомъ яркому для кабинетныхъ, ночныхъ, бесплодныхъ людей.

„Безплодіе“—о немъ рѣчь впереди; но изъ культа „мгновенія“, изъ страха подлинной жизни былъ попутно и еще выводъ. Жизнь неясная, полутонная, полутѣнная—не жизнь, а игра тѣней; да и вообще—„вся жизнь—игра; тотъ мудръ, кто понялъ это“. Ѳ. Сологубъ любилъ развивать эти мотивы. Самообожествленное „я“ тѣшится игрой—вотъ жизнь и міръ. „Вся жизнь, весь міръ—игра безъ цѣли“. „Все невинно, все смѣшно, все божественной игрою рождено и суждено“. „Я влюбленъ въ мою игру, я, играя, самъ сгораю“. Каждый замкнутъ въ своемъ заколдованномъ кругу, каждый „играетъ“, сгораетъ, умираетъ въ оградѣ своего обожествленнаго „я“. Такъ къ духовному нигилизму пришелъ антиподъ нигилизма—декадентство.